

Михаил Яснов

ЛИРИКА РАЗНЫХ ЛЕТ

Составил Андрей Чернов

СЕТИЗДАТ
Санкт-Петербург

НЕМОЕ КИНО

Когда я уеду из мест,
где жил за полвека до смерти,
что вспомню? Я вспомню подъезд,
под аркой, на Невском проспекте.

Как давний пустяк, невзначай,
как кадры немых кинохроник,
я вспомню облупленный рай
размером в один подоконник,

оставшийся чудом витраж,
стеклянные ромбы, как соты,
цветной заоконный пейзаж –
былые края и красоты.

Все помню – и ход на чердак,
и стены, седые от пыли,
и только не вспомнить никак,
о чем мы тогда говорили.

А было же! Точно игла,
кололо, вонзенное ловко,
словечко, и до смерти жгла
открытая настежь издевка.

Как будто на стыке культур,
входили в словесные стычки
вершащий судьбу каламбур,
цитаты, отсылки, кавычки...

Нас громко гоняли жильцы,
качали вослед головами,
не зная, что эти юнцы
хмельны не вином, а словами.

Казалось, забыть мудрено –
останется с гаком на старость...
А вышло – немое кино.
Всё помню, но слов – не осталось.

1980

* * *

Усни на моем плече посреди зимы,
которую так давно торопили мы,
чтоб снег невидимкой сделал укрomный дом, –
усни поскорей, я счастлив твоим теплом.
Усни на моем плече посреди страны,
в которой мы все заложники той шпаны,
что напрочь забыла про детскую боль и грусть, –
усни поскорей, я так за тебя боюсь.
Усни на моем плече посреди беды,
в которой мы так бесславны и так тверды,
что только вдвоем сумеем ее прожить, –
усни поскорей, нам утром опять тужить.
Усни на моем плече посреди любви,
которой так мало надо: одной любви,
любви при одной звезде, при одной свече, –
усни поскорей, усни на моем плече.

ОТРОЧЕСТВО. ЗИМА

Я не увижу знаменитого фетра
папиной шляпы: по воле ветра
она улетела в Крюков канал.
Папа честил непогоду с яростью,
а я с моста своего, как с яруса,
взглядом полет ее догонял.
Шляпа была дорогой и новой,
а лед топорщился двухметровый,
но каждый шаг грозил полыньей.
Крутилась поземка, чернели тени,
и шляпа лежала на этой сцене,
пока вдоль канала мы шли домой.
Я не увижу многого. Папа
вернулся с войны, а потом с этапа
и все свои записи сжег тотчас.
Вот шляпа — это другое дело.
Он надевал ее так умело,
чтоб никто не увидел папиных глаз.

ПРОХОДНЫЕ ДВОРЫ

Проходными дворами я к дому бежал от шпаны.
От стены до стены –
два-три метра, булыжник, набросанный мусор, кошачьи тени, запахи...
Если припомнить точнее – иначе:
проходными дворами я к дому бежал от шпаны,
сотни метров отчаяния, лабиринты животного страха,
мусор детства, худые ботинки, штаны,
разорванные с размаху
о торчащий из грязной поленницы гвоздь.
Сквозь
лабиринты проходов, потом напрямик по дровам,
по древесным уступам, по толем покрытым горам,
по сараям, по крышам, в какой-нибудь лаз неприметный,
в узкий угол, где свален стальной или медный лом,
напрямик, через черный подъезд, напролом,
сквозь могучие заросли запахов кухонь чадящих,
в полусумрачных чашах подворотен,
в которых ворота запирались на огромный изогнутый крюк, –
и опять в дровяных переходах сплетая, как хитрый паук,
паутину побега,
взахлеб, напрямик, наудачу
проходными дворами я к дому бежал от шпаны.
Если вспомнить точнее – иначе:
проходными дворами я к дому бежал от войны.
Сквозь неловкое детство – и кровь ударяла в виски –
проходными дворами я к дому бежал от тоски
одиноких гуляний, бежал проходными дворами дни за днями,
как подпасок на звук колокольчика в чаше заблудшей коровы,
за тревожащим школьным звонком,
чтоб буренку чернильную за рога научиться хватать...
Проходными дворами опять
прохожу, пробегаю –
сколько лет пролетело подобно гремящему на перекрестке трамваю,
и зарос паутиною памяти школьный звонок!
Одноклассник матерый выводит детей на прогулку
проходными дворами, заученными назубок.
Но когда я иду по безмолвному переулку
и выхожу на асфальт проходного двора –
начинается та же игра.
И опять я бегу по дворам,
по древесным уступам, по толем покрытым горам,
по сараям, по крышам, в какой-нибудь лаз неприметный,
в узкий угол, где свален стальной или медный лом, –
и все дальше и дальше,
все дальше и дальше
мой дом...

1975

МОСКОВСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Александр Михайлович Ревич –
переводчик и старый пиит,
выставляя на стол бутылевич,
говорит, говорит, говорит.

И, входя потихоньку под градус,
переводчик и старый пиит,
с ним Анисим Максимыч Кронгауз
говорит, говорит, говорит.

Допоздна не пустеют стаканы,
день рабочий летит кувырком, –
это лечатся старые раны
говорком, говорком, говорком.

И дымит фронтовая траншея,
и ракета, как в песне, горит –
пьют без умолку, пьют, не хмелея,
переводчик и старый пиит.

Их в застолье поди, объегорь-ка, –
до краев наполняют стакан!
И становится стыдно и горько
от того, что я молод и пьян...

О московское гостеприимство!
Я в долгу у него, я готов
помянуть его ныне и присно,
а случись – и вовеки веков.

И когда я разлукой ведомый
под медлительный говор колес
возвращаюсь в мой город, знакомый –
ведь иначе не скажешь! – до слез,

всё мне слышится этот туманный,
этот мирный московский содом,
исцеляющий рану за раной
говорком, говорком, говорком...

* * *

Как важно родиться в том городе, где...
Как важно учиться в том классе, в каком...
Как важно водиться с той братией, что...
Родись ты не здесь и учись ты не там,
води ты компанию вовсе не ту –
и вот ты никто, и нигде, и никак.
А если даже – то и тогда.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Не звонил ему никто.
Он лежал в постели жаркой
рядом с книжной этажеркой,
положив на одеяло
неподвижное пальто.
Вечерело. Холодало.
Не звонил ему никто.

В поликлинике сначала
не давали бюллетеня,
а потом он перемогся:
думал – осень на носу,
начались грибы в лесу,
и от службы по Вуоксе
был байдарочный поход.

Он поехал, перемогся,
перемаялся – и вот
закрутил его недуг,
и внезапно умер друг.

Все потом припоминали,
где его в тот день видали.
Выходило, как всегда,
в заведении питейном
(угол Невского с Литейным),
наверху, в «Аэрофлоте»,
(где вы часто кофе пьете),
в Доме книги, возле Люси,
(с толстой книгою во вкусе
примитивном, как всегда).

Вспоминал усердно кто-то,
что сказал он в этот день:
выходило так ничтожно,
что и вспомнить невозможно, –
что-то вроде анекдота,
в общем, дрянь и дребедень.

Вспоминали те стихи,
что читал он в поза– поза-
позапрошлый выходной:
выходило, просто поза,
и при этом слог дурной.
Впрочем, был он милый малый.
Было жаль его, пожалуй.

Не звонил ему никто.
А Ткачиха с Поварихой,
с сватьей бабой Бабарихой –
весь набор соседских душ –
та пускала в ванной душ,
та бродила по квартире,
та кричала невпопад.
За стеною кум и сват
обсуждали, что в Каире
говорил Анвар Садат,
и куда поехал Никсон,
и куда поехал Нюксон,
и куда поехал Няксон,
про валютный кризис тож.

Так в последний раз глагол
слуха чуткого коснулся,
но поэт не встрепенулся:
был он немощен и гол.

Не звонил ему никто.
Пахли мерзостью ботинки.
Начался под вечер бред.
Вместо пишущей машинки
на столе сидел скелет.
И сочились вразнобой
ненаписанные строчки
из листа, как черный гной
из разорванной сорочки.

Не звонил ему никто.
Гарик был с женой на даче.
Маша с мужем не иначе,
как машиной разживались.
Волик с Аней разъезжались.
Славик лазил по тайге.
Марик лазил по знакомым.
Был Володя вдалеке,
а Регина просто дома.
Петя с девушкой скучал.
Витя Рильке изучал.
Вася пил. Борис молчал.
Николай ногой качал.

1971

МАМА

У прохожих на виду
Маму за руку веду.
Мама маленькою стала,
Мама сгорбилась, устала,
Мама в крохотном платке –
Как птенец в моей руке.
У соседей на виду
Маму в комнату веду.
Подведу её к порогу,
Покормлю её немного,
Уложу поспать в кровать.
Будем зиму зимовать.
Ты расти, расти во сне –
Станешь ласточкой к весне,
Отдохнешь и отоспишься,
Запоёшь и оперишься,
И покинешь тёплый дом,
И помашешь мне крылом...
У прохожих на виду
Маму за руку веду.
Мама медленно идёт,
Ставит ноги наугад...
Осторожно, гололёд!
Листопад...
Звездопад...

ДВЕНАДЦАТЬ

1.

Бросил писать. Не хватило таланта или работоспособности. Всё оказалось в силе духа, в жизненной силе и в ежедневном труде. Запил. Оброс бородой. В бороде, как в старинном английском лимерике, поселились птицы. Потом появились мымрики и стали клянчить на выпивку. Он бороду окунал в водку, в широкий бокал, чтобы всем хватало. Мымрики расплодились. Когда мы его хватились, он был уже выбрит, сидел на Пряжке и птицам, как крошки, бросал из окон бумажки.

2.

Бросил писать, потому что понял нелепость этих защитных стен. Как ни строил крепость, она уже не спасала от передраг. Тут-то и объявился незримый враг: предательство. Долго не мог понять, кто предал, – он ли, его ли? Вдруг очутился в бескрайнем поле. Трижды пытался – бороться, смириться, забыться, но страница оставалась нетронутой. Комкал ее. И ком в горле стоял колом.

3.

Бросил писать, потому что влюбился. Стало совершенно понятно, что прежде писал от накала комплексов, одиночества, лицедейства. Превратился в отца семейства и разве что утешался экспромтами к датам. Стал общительным, в меру богатым, чтобы жить нараспашку. Однако, когда он умер от рака, нашелся его дневник: он так себе и не смог простить, что бросил писать. И этим себя обрек.

4.

Бросил писать. Избавился от геморроя
и принялся за строительство. Роя,
копая, стругая, таская камни, доски, фанеру,
наконец-то обрел – пожалуй, не веру, но меру
и вкус: не к стихам, так к фанере, доскам, камням.
Так уставал, что порой напивался в хлам.
Но думал, все время думал: не о судьбе, об оснастке.
Дом постепенно строился и что-то росло на участке.
Ездил туда через день, через два, через три. Через четыре года
жена ушла. Наконец-то пришла свобода
ездить туда ежедневно, что ни день упиваться в дым.
Что-то мы редко видимся с ним.

5.

Бросил писать, потому что старость подкралась.
Оставалась какая-то малость,
чтобы все устроить, понять, но не вышло. Отказывала голова
и не срабатывал организм. Едва
просыпался, как начинал себя сомненьями мучить,
а плоть начинала сперва досаждать, а потом канючить
и требовала покоя. Он засыпал
в кресле и засыпал
пеплом старенький плед, залатанный кем-то из прежних
жен. А из впечатлений вовсе не стало внешних,
только те, что внутри. Но уже
было неясно, где: вне души? за душой? в душе?..

6.

Бросил писать, потому что схватился сдуру
за халтуру: редактуру и корректуру.
Было уже не до славы, но хотя бы побыть на плаву.
Ринулся в прозу. Месяц за месяцем мучил главу
повести, так и застрявшей на первых страницах.
Вскоре халтуры прибавилось. Разве что ночью приснится
зыбкое нечто, влекущее нечто, – казалось, вот-вот...
Сон исчезал. И манили аванс и расчет.
Правил. Писал на полях. Относился с душой.
Но поля были собственностью. Чужой.

7.

Бросил писать, потому что дышал на ладан.
Вера спасла. Предпочел греховным балладам
пенью в церковном хоре. Светлел душой.
Стал называть стихотворство паршой.
Приходил и склонял, и доводы были вески,
но чем-то напоминали повестки
в военкомат: было столь же тоскливо и неотвратимо,

и пахло, словно от детского карантина.
Слава богу, исчез, превратился в забытое фото, в горсточку праха.
Только что выпустил книжку «Звезда монаха».

8.

Бросил писать, но сначала рванул на Запад.
Быстро вписался. Прятал глаза под
широкополой шляпой, на шее носил платок.
Быстро влился в общий поток.
Стал издаваться, поскольку его успели
на родине поприжать. Но, в общем, не было цели
и смысла, смысла и цели не было, хоть убей.
И вышло само собой, что он никто, и ничей,
и никому, и никак, и нигде на свете.
Быстро осел в заштатном университете
и разъезжает по конференциям с темой: «О
прилагательных цвета в романах Ивлина Во».

9.

Бросил писать, потому что кругом евреи.
После первой же стопки дуря, садился спиной к стене и смотрел в окошко, набычась,
что-то пытаюсь в уме разделить и вычесть.
Сумма никак не сходилась, и все получалось так,
что жизнь у него украли. А он-то, чудак, простак,
думал, что все как по маслу. Теперь ни масла, ни хлеба,
и небо, если взглядеться, чужое небо.
Даже та, что в стакане, хотя и звалась «Московской»,
явно была отравой жидовской.
Вылил к чертовой матери! Кто-то его надоумил
купить по дешевке спирту. Наутро умер.

10.

Бросил писать, потому что не смог совладать
с языком. Он хотел овладеть, со-владеть, а пришлось соблюдать
правила, от которых тошнило, но иных сотворить не смог
и следил за другими, плюясь от несносных строк.
Верность принципам превратилась в цепную ревность.
Речь спала в словаре, напоказ выставляя царевность,
но каким поцелуем какой новоявленный Даль
оживил бы ее? О, проклятый словраль!
Так тянуло войти в поговорку – но входил постепенно в раж.
Вышел в люди сухим из воды на дорогу в тираж.

11.

Бросил писать, потому что невыносимо
стало писать, потому что судьба скосила
близких друзей, потому что учителя

умерли, потому что не стало для
легких воздуха, а для души не стало
дружества, потому что перелистала
книгу судьбы мгновенная жизнь, и в ней
не обнаружилось ни высоких идей,
ни, как ни странно, тьмы этих низких истин,
кроме того, что мир во всем ненавистен
тем, кто хочет писать, но в помыслах чист –
и потому оставляет девственным лист.

12.

Бросил писать. Ночью вскочил: не спится.
К утру на руках и ногах отросли копытца.
Глянул в зеркало и увидел ослиные уши.
Бросился вон из дома. К вечеру стало хуже.
Ветер носил его по земле. Потом подошел человечек
и нацепил ему на уши белый венчик
из роз, а другой на него уселся верхом
и поехал в столичный город. С грехом
пополам он повез седока, под его угловатую плоть качаясь.
Я остался один.
Больше мы не встречались.

1999

* * *

Андрею Чернову

«Я слепну и глохну», – сказал мне поэт,
смешных, по сравнению с вечностью лет.
Я выглядел рядом мальчишкой –
но другу ответил одышкой.

На улице было светло и грешно,
и музы порхали неслышно,
и прошлое в нас незаметно вошло,
и тут же грядущее вышло, –
как будто двоих не приветит Господь
под ветхою крышей по имени плоть.

Мы пили, как то повелось на веку,
а выпивши, в кои-то веки
мы кинули нищему по медяку
под песню о вечном калеке,
и вновь пировали в кругу доходяг,
втроем пропивая последний медяк.

Крутилась монетка, нам судьбы края,
пока мы сидели, сутулясь.
И время вернулось на круги своя,
а может быть, круги вернулись,
когда мы сбিরались в неведомый путь
в заветную щелку на волю взглянуть.

Мы вновь оказались в былом забытии
надежной, проверенной пробы:
здесь левой рукою сошьют нам статьи,
а правой – тюремные робы.
В застенке, где разве что нюх не отбит,
лишь пес выживает – и тот инвалид.

Все громче звенит молодая броня
в предчувствии скорого гона.
И некто, похожий на череп коня,
сверкнув чешуею погона,
нас свяжет узлом, как последнюю кладь.
Не видим. Не слышим. И нечем дышать.

2004

* * *

Талантливые мальчики конца пятидесятых –
уже по школам, как велось, портреты не висят их,
и свет медалей выпускных на бархате коробок
померк при серебре седин и золоте коронок.

Давно идет печальный счет дорогою истертой:
спились и первый, и второй, и третий, и четвертый,
и предал пятого шестой, как верный соглядатай,
и за бугром седьмой, восьмой, девятый и десятый.

Талантливые мальчики уходят без оглядки.
Я, слава Богу, уцелел: я во втором десятке.
Покинув старые дворы, подъезды, подворотни,
идет десяток наш вперед навстречу черной сотне.

Уже остались позади и трусы, и герои.
Уже осталось нас, как встарь, то ль четверо, то ль трое.
Но давний опыт не избыт и не забыты строчки, –
а это значит: как один, умрем поодиночке.

1988

* * *

Мы выросли на лагерном жаргоне,
и куклам телеотроческих грез –
Телевичку, Гурвинеку, Жаконе
нас перевоспитать не удалось.

Уже с утра дворовые словечки
вздымали пыль, замешивали грязь,
и деревянный чижик на дощечке
взлетал, на всю округу матерясь.

Родная речь – чердачная воровка
пихала в сумку стибренную кладь.
Чернильная вросла татуировка
в измученную школьную тетрадь.

Мы, как слепцы, указкой в карту тыча,
шагали вдоль лесов, полей и рек,
и низкое, как старт, косноязычье
нас отправляло в праздничный забег.

Беги, беги под стук секундомера
по дантовым кругам родной страны,
где речи пионера и премьера
в своей беспечной скудости равны.

Беги, беги, рассчитано толково:
мы все такие – я и сам такой! –
чтоб от одышки не сказать ни слова,
лишь на бегу махнуть на все рукой.

1989

ЕДИНОЖДЫ НАВСЕГДА

*Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда
со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь.*

А. С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум».

В середине шестидесятых резко замедлилось время.
«Племя» и «семя» рифмоваться с ним перестали;
«стремя» давно скопытилось; правда, еще оставались «темя» и «бремя»,
но темя болело от бремени стоявших на пьедестале.

В середине семидесятых произошел ожидаемый кризис –
исподволь были розданы мишени и мушки.
Наше поколение оказалось выбито: из
десяти, примерно, восемь расположились у кормушки.

Старшее поколение имело судьбу и успех.
Младшее поколение еще кувыркалось в нетях.
Наше поколение поверх этих глядело на тех,
часто не различая, что – у тех, что – у этих.

Мы начали слишком рано и ушли в никуда,
никто посреди нигде стал нами распоряжаться,
поэтому если хочется единожды навсегда,
то это вполне естественно, и не следует поражаться.

В середине восьмидесятых все расставилось по местам:
старшим хватает чего терять, младшим есть чего добиваться.
Мы оказались на берегу подобно выброшенным китам –
остается, ползя вперед, окончательно добиваться.

Но если двоим из десяти захочется круто поворотить,
то есть еще прилив и прибой, а рядом – друг и ровесник.
Вот бы только еще удаче покружить и поворожить
там, где громко хохочут чайки и гордо реет буревестник.

1988

СТОЛ НАХОДОК

В зеленых лужицах брусчатка,
пожух и съежился вьюнок.
Лист, пятипалый, как перчатка,
лежит, оброненный, у ног.

Бредет рассеянная осень,
теряя этот лист и тот,
и в буйном ветре-листоносе
кружит пропажа и плывет.

Царит хаос метеосводок
во славу службы городской
и мой рабочий стол находок
завален пряною листвой.

Пойду пройдусь еще разочек
взглянуть на мокрый белый свет
среди этих дедовских и отчих
окраин, тропок и примет.

Вот лист прикрыл собой квадратик
земли, усталой и пустой, –
мой желтый маленький собратик,
и я такой!.. И я – такой!

Я за тобой стою в затылок,
я изучаю, как профан,
весь долгий перечень прожилок,
изъянов, червоточин, ран...

Составив точный комментарий,
собрал бывшее по годам,
когда-нибудь я свой гербарий
в наследство сыну передам.

1977

СЕГОДНЯ

Руки у рыб кривы.
Рыбы – народ мирный.
Строем идут рыбы
лечь на песок жирный.
Рыбам гулять негде.
Рыбам теперь горе.
Рыбы живут в нефти,
ибо кругом – море.

Птицам весь день спится –
свет над землей слабый.
Словно слепцы, птицы
пробуют мир лапой.
Не говорит с ними
небо в ночных звездах.
Птицы живут в дыме,
ибо кругом – воздух.

Стойко плывут рыбы.
Птицы летят стойко.
Вот я и жив, ибо
люди кругом – только,
бедам чужим вторя,
душно порой, слепо...
То ли пора в море,
то ли пора в небо.

1979

В НАЧАЛЕ МАЯ

По радио гоняли Галича,
и этот рокот сверху вниз,
как бы резвяся и играючи,
из репродуктора повис.
По улице с дождем и с лужами
прохожие, умерив прыть,
скользили и нет-нет да слушали,
разматывая эту нить.
Флажками город у Невы играл,
как будто, вопреки судьбе,
переходящий кубок выиграл
у ветреного КГБ.

1989

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ КИСКИ

Купили в киоске «Берёзки»
Для Киски французские соски,
Чтоб Киска легко
Лакать молоко
Могла научиться из соски.

Прислали для Киски с Аляски
Подбитые мехом салазки,
Чтоб Киска зимой
С горы ледяной
Каталась, забравшись в салазки.

Прислали из Англии Киске
Бутылочку крепкого виски,
Чтоб Кискина мать
Могла угощать
Гостей в дни рождения Киски.

Прислали матрас из Небраски,
Прислали из Индии сказки –
А Кискина мать
Не знает, где взять
Хотя бы кусочек колбаски!

[Конец 1970-х]

* * *

Вот кошмар быть женой дипломата!
Нет под окнами пьяного мата,
Нет соседей, стучащих в клозет,
Нет сражений с приبلудною кошкой,
Нет авоськи, набитой картошкой,
Нет вопросов: «А что на обед?»

Вот кошмар быть женой дипломата!
Нет неведомых поисков блата,
В поликлинику записи нет,
Нет мечты о квартире приличной,
Нету грусти о жизни столичной,
Нет лихих коммунальных побед.

Вот кошмар быть женой дипломата!
Вместо кофе не пить суррогата,
С сервелатом читать Дюрренматта,
Над Ахматовой лопать омлет,
И на улице зимней, бульжной
Не стоять за подпискою в книжный
По ночам в довершение бед.

Идиотка! Сидишь за границей
И бифштекс посыпашь корицей,
Всё на свете, наверно, кляня.
Вот кошмар быть женой дипломата!
Ну и дура. Сама виновата.
То ли дело – пошла б за меня.

[1970-е]

* * *

Памяти Завена Аршакуни

Петербургский художник армянских кровей,
для кого-то – нацмен, для кого-то – еврей,
для кого-то – забота иная,
а для нас он – водитель трамвая.
Этот красный трамвайчик я знаю в лицо:
у него на холсте, возле рамы, кольцо.
И садится водитель трамвая,
пассажиров ночных подзывая.
Мы отправимся в путь вдоль каналов и рек.
Так какой, извините, за окнами век?
То ли это Растрелли с Трезини,
то ли города нет и в помине.
Это белая лошадь в туманном окне,
это ослик с поклажей на круглой спине,
это луковки Божьего мира
и младенец во чреве буксира.
Это солнце, которое бьет через край
полотна, и звенит огоньками трамвай:
колокольчики – желтый и синий –
в лабиринте проспектов и линий...

* * *

Как начинался русский футуризм?
Вот Лиля Брик когда-то написала
о сестрах Синяковых. Пять сестер –
девицы эксцентричные – в хитонах,
с распущенными вечно волосами
гуляли по украинскому лесу,
пугая всю округу... Пастернак
влюблен был в Надю, а Давид Бурлюк –
в Марию, в каждую из пятерых –
поочередно – Хлебников, Асеев
женился на Оксане... Так возник,
как весело писала Лиля Брик,
в их доме футуризм.

Начало века,
приманивая, было втихомолку
греховно, и за ширмою течений,
литературных школ и живописных,
стояла обнаженная царица
и свой вершила легковесный суд.
Так распадался символизм.

Метался
ревнивый Белый. Шел к дуэли Брюсов.
И, губы сжав, пророчествовал Блок...
А где же наши женщины, дружок?
Кто будет музе верною сестрой
и оживит безвыходное слово –
безмолвная крестьянка на Сенной
иль карлица, ведущая слепого?
В искусстве сходство каверзное есть
с изысканной и милой одалиской,
что дарит нам высокую болезнь
смешав ее с постыдною и низкой.

1979

ЛИСТ КАЛЕНДАРЯ

– Ну как, вам нравится?
– Но зато как хорошо!
(Из разговора на поэтическом вечере)

Спешит поэт столичный, веселый человек.
А с ним актер, отличный от суетных коллег.
Спешит народ вприпрыжку на голос аонид.
А ветер завывает, вьюга леденит.

Нева, дома, сугробы, собачий купорос...
Я славлю Дом ученых, пригревший нас в мороз!
Ревнивый и неявный под ребрами толчок,
и юности недавней знобящий сквознячок.

А гости перед входом успели покурить,
они в шестидесятых успели поцарить,
они поотражались в волшебных зеркалах –
осколки поколения с усмешкой на губах!

Какая разыгралась за окнами буза!
Но подвернулся повод закрыть на все глаза:
как будто есть на свете лекарство от нее –
веселое фиглярство, занятное вранье.

Шумит поэт столичный, миляга и пострел,
и все-то он на свете унюхал-усмотрел:
Чуковского он видел, Ахматову он знал,
но не пристали к пальцам ни слава, ни металл.

Над позднею удачей кружит февральский снег
и оживают тени, и оживляют век,
и голос легендарный взлетает над Невой,
как легкий, календарный, листочек отрывной.

Какое поколение почти сошло на нет!
А мы поодиночке идем за вами вслед
и на привычный проблеск мальчишеских седин
с веселым одобреньем и с ужасом глядим...

1985

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

У нее была толстая мама с прокуренным басом
и папа-художник с допотопным мольбертом.
Мама верховодила нашим классом,
а папу, которого звали Альберт, мы дразнили «Мольбертом».

Альберт Семеныч рисовал городские пейзажи,
а мама ставила с нами спектакли.
Помню премьеру: все в костюмах, я же
почему-то с одной бородкой из пакли.

Помню, эта бородка всех насмешила –
падала, мне становилось неловко.
Папа-художник носил с собой ножик и шило
и ловко к моей бородке приделал веревку.

Папа-художник недавно вернулся неизвестно откуда.
В квартире их было пусто и голо.
Однажды, когда у дочери случилась простуда,
к ним завалилась чуть ли не вся школа.

Оказалось, папа рисует для школы портреты Ленина
и делает это совершенно бесплатно.
Помню, девочку звали Леной. Мама Ленина
замечательно выводила чернильные пятна.

Мама была вездесуща: с утра и до ночи
металась по нашей улице с какими-то свертками.
Под вечер мы встречали Мольберта Семеныча –
он возвращался домой, как правило, с водкою.

Оказалось, папа пьет, и с темна до света
мама шьет – под боком была барахолка.
Потом барахолку закрыли. А в школе портреты,
помню, еще висели долго-долго.

Помню какой-то вечер, школьную сцену,
маму ее за кулисами, папу в зале...
А вот кого я не помню, так это Лену, –
всплывает нечто курносое и с глазами.

Было, сплыло... Видели – как не видели.
Что-то мы там сыграли, и нам аплодировали...
Наше отрочество было пристально к нашим родителям.
Много позже мы их реабилитировали.

1981

КОТ И ХОЗЯЙКА

Х о з я й к а :

Но я о смерти – все случилось так.
Я умирала. Это был не сон.
а ощущение гибели. Оно
в меня входило. В забытьи глубоком
я чувствовала: нужно пробудиться
немедленно, иначе я умру!
И не могла. Я помню точно въяве
тот ужас, то смятение, с которым
я пробовала вырваться, ожить –
и не могла. И в это время боль
и крик ужасный, крик нечеловечий
мое сознание всколыхнули. Я
от боли и от крика в тот же миг
очнулась и вскочила – это кот,
мой верный кот в лицо мое когтями
вонзился и завыл: он смерть мою
почуял. Он увидел: умираю –
и спас меня, так дико пробудив!..
Иди ко мне, мой маленький спаситель!
Иди, ложись!.. Теперь он спит всегда
со мной в постели. Ведь неровен час –
вдруг ночью это снова повторится?
Но я теперь спокойно засыпаю:
я знаю, что со мною рядом – кот.

К о т :

Как мягко! Как тепло! Я так люблю
понежиться на ватном одеяле.
Теперь я что ни ночь с хозяйкой сплю,
а раньше – редко-редко допускали.
Когда луна пройдет свой скучный путь
и скроется за кромкою окошка,
к хозяйке забираюсь я на грудь,
мурлыча от восторга, как гармошка.
Мне нравится, что спит она, дыша
едва-едва, – ну впрямь моя подстилка.
И так у ней на шее хороша
таинственная медленная жилка!
Я, наконец, не выдержал – накрыл
ее своею лапой: жилка билась!
Я телом лег. Я, не жалея сил,
старался, чтоб она угомонилась!
Хозяйка захрипела. В тот же миг,

как ни пытался я скатиться на пол,
но был прижат, и закричал на крик,
и все лицо хозяйке исцарапал.
Она вскочила. Я готов был рвать
отсюда когти, ожидая взбучки,
но был положен снова на кровать,
обласкан, расцелован, взят на ручки!
Хозяюшка, в словах не смыслит кот.
О чем ты говоришь гостям столь пылко?
Как мягко! Как тепло! Как не дает
покоя мне таинственная жилка!

1981

РЯДОВОЕ ДЕЛО Д'АРТАНЬЯНА

*1655 год. Осень. Уголок старого Парижа.
На переднем плане – дом, предназначенный к ремонту.
Около него свалены строительные балки.
Перед домом прохаживается д'Артаньян.*

Д' А р т а н ь я н

Его преосвященство, кардинал,
мне не дает покоя. Я отныне,
как мой герой однажды написал,
порхаю «токмо ради Мазарини».
Ну что ж, мазаринада Сирано
была вполне язвительна. Однако,
в сороковом году, давным-давно,
я знал совсем другого Бержерака.
Вот кто шутил! Вот кто сгорал в огне!
Кто был магнитом тайных женских взоров!
И уж кому по нраву, как ни мне,
его гасконский выговор и норов!
Но столько лет минуло! Наконец,
могла б и трезвость посетить кумира,
а он – смешно! – как в юности, гордец,
бессребреник, писака и задира.
О, молодость, твой пыл не позабыт,
порыв твой свят, достойна щепетильность,
но в сорок лет, ей богу, так претит
вся эта напускная инфантильность.
Дуэли, скачки, юбки хороши
в семнадцать, а теперь они – вериги,
и для созревшей, дерзостной души
нужны иные чары и интриги.
Я – д'Артаньян: меня не тяготят
ни бремя славы, ни обуза денег.
Но требует душа! Я – дипломат,
иезуит, разведчик и священник!
Что говорить? Наш век не так-то прост –
в нем выжить по плечу одним титанам.
К тому же мне обещан новый пост:
я со дня на день стану капитаном
гвардейцев... Но до этого – одно,
еще одно задание кардинала:
убрать писаку... Бедный Сирано!
Мне жаль его. Как хорошо, что мало
я с ним знаком! В конце концов, еще
одна дуэль, но тайная. Не надо
ни прятаться украдкой под плащом,
ни в полутьме устраивать засаду.

Я все продумал: Бержерак живет
здесь, в двух шагах... Когда пойдет он мимо,
случайно балка сверху упадет...
Дом строится... И все так объяснимо...
Я нанял трех мерзавцев – этих дел
им не считать, и денег не считать им...

А в т о р
(*выбегает из партера на сцену*)

Постойте! Я такого не хотел!
Так мы с ума от путаницы спятим!
Я лишь предположил, что, может быть,
в убийстве Сирано (когда убийством
закончилась его шальная жизнь)
мог быть замешан д'Артаньян. Как раз
в те годы стал он ловким, умным, тайным
агентом Мазарини...

(*Садится на одну из балок*)

Но ведь это –
лишь домысел. И сам я не пойму,
с чего взбрело мне путать д'Артаньяна
реального – и вымысел Дюма!
Развенчивать героя? Но зачем?
Переносить в тот давний век свои
не слишком-то богатые пометы
и наблюденья? Но далекий век
даст фору в сто очков по этой части
и подлостью своей нам нос утрет.
А может, просто хочется душе
столкнуть своих героев, проследить,
во что их бескорыстие и удаля
могли бы перейти?..

Д'А р т а н ь я н
(*подходит к Автору, тот встает*)

Простите, сударь,
но здесь идет строительство. Беда,
коль вас бревном заденет.

(*Трем оборванцам, показывая на балку рядом с Автором*)

Господа,
вот эта – подойдет!

1984

* * *

Дитя уснуло на груди
Мадонны. Что там позади?
Дымы и птиц летящих сажа.
Я, как художник прежних лет,
библейский выстрою сюжет
на фоне отчего пейзажа.

Пусть перспективу видит глаз.
Не так уж важно, что сейчас
творится здесь, на первом плане.
Тут иллюстрация, а там
все бранным отдано делам:
гражданской и военной брани.

Там шум колес и скрип рессор,
там день за днем сплошной разор,
там жизни режут на кусочки.
А что дитя? Чуть-чуть поспит,
потом проявит аппетит
и грудь сосет без проволоочки.

Там смерть и пот за годом год.
А что дитя? А все сосет
и спит. Сосет и спит, покуда
мы превращаемся в навоз
под скрип рессор и шум колес.
А он все спит. И в этом – чудо.

1997

БЕЛЫЕ НОЧИ. ТАНГО

Больные мальчики, кто с печенью, кто с астмой,
еще не чувствуя судьбы своей несчастной,
сходились в сумерках, шушукались впотьмах,
как век-другой назад, о славе и стихах.

За окнами страна, привыкшая к насилию,
шла врукопашную с войсками туч и птиц,
и глухо оседал чахоточною пылью
в пазах Ленмебели вечерний шум страниц.

Соседи в потолок вели прямой наводкой
огонь шампанского, сорвав с него засов;
шипело радио шершавой сковородкой
на адском пламени партийных голосов.

По бледным улицам всеильные плакаты
свой устанавливали колер и размах,
покуда немощные призраки блокады
еще скрипели половицами в домах.

Стук метронома, перестук души и плоти,
и шаркал дворник, и свистели поезда,
и время билось, как пластинка на излете:
«Идеи Ле... идеи Ле... и побежда...»

Больные мальчики глядели в серый омут
окна, прилипшего к бескрайнему двору,
а зацепившийся за флаги серп-и-молот
плел золотую паутину на ветру.

* * *

Ты возвратилась в этот пасмурный,
туманный город над рекою –
с далекою пропиской в паспорте,
с уже далекою судьбою.
И юности твоей видения,
и зрелости твоей приметы,
как сфинксы возле Академии,
возникли, выплыли из Леты.

Пух тополиный, пух малиновый,
плывя под ветренным закатом,
на яркий твой рукав сатиновый
ложится тихим снегопадом.
И, сев с тобою на ступени, я
гляжу, как над мостом пустынным
приметы эти и видения
взлетают пухом тополиным.

Над нашей родиной асфальтовой
лети, лети, не уставая,
и все, что прожито, осматривай
из окон старого трамвая.
Лети, лети, покуда магия
былого – теплится в ладошке,
лети на отсвет Исаакия,
как мотылек на свет в окошке.

Оборотившись к жизни давешней,
тебе я снова присягаю –
на старой площади и набережной,
вдогонку твоему трамваю.
И юности моей видения,
и зрелости моей приметы
прозрачным пухом возрождения
окутывают парапеты.

1973

* * *

Как судьба, свершившаяся втайне,
как слова, зарытые в слова,
как Шопен, очнувшийся в регтайме,
оживает старая листва.

Все вокруг еще темно и голо
в окруженьи сосен и осин,
но уже восторги птиц до голо-
вкруженья рвутся из низин.

Погоди, не стой под этим ветром –
так тебя, глядишь, и унесет
в те края, где туча ходит фертом,
осыпаясь брызгами с высот.

Есть просветы в этих днях ненастных –
потеплее курточку надень:
счастье – то, что кроется в нюансах,
в переходе гласных в полутень.

И ОН ОТВЕТИЛ...

День птиц. Но я-то ведь не птица,
Как ни хочу – не полечу.
Мне в крайнем случае приснится
Крыло, пришитое к плечу.

Из забытого поэта

1

Синюшная, как срез яйца
на бутерброде с килькой ржавою,
луна мелькала без конца
над нашей бедною державою.

Жизнь шла в просветах между туч,
меняя черное на синее,
и даже ливень был сыпуч
над этой скудною пустынею.

Я с отроческою тоской
вдыхал весенний вечер сумрачный,
пока стоял доска-доской
под козырьком знакомой рюмочной.

Он юркнул в этот смутный шквал,
он предвкушал его заранее.
Не то, что я был слишком мал,
чтоб здесь попасть в его компанию,

не то, что был какой запрет
и полагалось прежде вырасти, –
но эту пьянь минувших лет
я и теперь не в силах вынести.

Я ждал его. Он свой был там,
он мимикрировал под пьяницу,
свои родные двести грамм
он выпивал с кем только станется.

Он выносил мне бутерброд,
тот самый, с килькою... Покуда мы
шли от ворот и до ворот,
я грыз его за пересудами.

На кухне, разливая чай,
придвинув мне пакет с помадкой,
он отстранился: «Ну, читай!»
И я погиб в борьбе с тетрадкой.

.
2

Откуда этот странный счет,
откуда эти заморочки,
когда тебя всю трясет
от только что рожденной строчки?

Откуда этот странный звук,
высокий – чуть с ума не спятишь! –
когда сорвавшуюся с губ
ты грифелем ее подхватишь?

Откуда этот дикий драйв
(жаргон и не такое слепит!)
с утра, едва глаза продрал,
уткнуться во вчерашний лепет?

Откуда подступает муть
аллюзий каверзных, и – нате! –
откуда этот страх и жуть
поймать себя на плагиате?

Откуда пафос и успех
в пылу домашних репетиций,
попытка говорить за всех
и на премьере провалиться?

Откуда этот разнбой –
насилье славы, власть подвоха,
и убежденье, что тобой
сегодня говорит эпоха?

Откуда эти чудеса,
верней, единственное чудо?
Он посмотрел глаза в глаза:
– Да наплевать тебе, откуда!

3

Он за столом сидел впотьмах,
он выглядел как мудрый хоббит.
Он говорил: – Рассказ в стихах –
вот что, дружок, тебя угробит.

Потом включил настольный свет
и в руки взял мою тетрадку:

– И вот чего еще здесь нет, –
он улыбнулся. – Нет порядка.

Конечно, власть черновика
порой сильнее интуиции,
но есть строфа, и есть строка,
и есть законы композиции.

Он теребил мою тетрадь,
меня оставив без внимания.
– Никто не должен предавать
читательского ожидания!

И есть словесная игра,
но у нее свои условия –
она внезапна и хитра,
в отличие от игрословия.

И красота словесных игр
куда забавней и насмешливей,
ты озорство и ритмы их
с простой игрою слов не смешивай.

Он снова пролистнул две-три
страницы: – Как его ни чествуй,
эпитет лучше убери –
и строчка сразу станет честной.

4

Светало. Я пошел домой.
Кругом была разлита магия
ночной беседы. Под луной
светился купол Исаакия.

Со мною рядом, в двух шагах,
шли сопечальник и насмешник.
Вдруг я увидел на ветвях
прибитый некогда скворечник.

Прогнил, скривился птичий дом,
но гостю был он интересен,
и кто-то копошился в нем,
хоть было явно не до песен.

Он пережил мороз и тьму,
а может, прилетел откуда?
Как школьник, свистнул я ему.
И он ответил...
Вот ведь чудо!

2019

* * *

Всё тесней и всё интимней
круг друзей – и не уйти мне
от того, что белый свет
среди крыш и среди веток,
словно марлечка на свет,
стал прозрачен, стерт и редок.

Умирают старики.
Все слышнее с той реки,
с той далекой переправы
их живые голоса.
Нам для подвигов и славы
остается полчаса.

Где содумники? Их нету.
Разбрелись по белу свету,
каждый сам себе горазд.
Что на свете остается?
Чистый лист и чистый наст.
Одиночество и солнце.

1986

* * *

Майский запах свежей корюшки
с ветром в паре, с илом в примеси.
По газонам вбиты колышки
с чахлой зеленью на привязи.

Я и сам не старше саженца
под крутым крылом вороньим
и готов прижиться, кажется,
навсегда к твоим ладоням.

СЧИТАЛКА

Тазик с дыркой для гвоздя,
фотография вождя,
старый дворик, новый дом,
утром – солнце за окном,
звон резиновых мячей,
запах елочных свечей,
Левитана грозный бас,
«А у нас в квартире газ!»,
россыпь кашки по лугам,
«Ба-ка-ле-я» по слогам,
шум, гудки, курантов бой,
линза с пробкой и водой,
промокашка, пресс-папье,
Пушкин, «Сказка о попе»,
Михалков, Житков, Маршак,
школа, парта, красный флаг,
«Рио-рита», патефон...

Детство, детство, – выйди вон!

1979

* * *

Листья падают ничком и навзничь,
рвется паутина зыбких слов.
Нас уже ничто не держит. Нас нич-
то уже не держит. Лопнул шов.

Дворник, дворник, жаль твоих мучений:
что за морок
с горем пополам
набивать мешок листвой осенней
так, что он уже трещит по швам.

.
Кажущие все свои орехи,
тот поеден ветром, тот – жучком,
листья прорываются в прорехи
и ложатся навзничь и ничком.

ДЮНЫ

Здесь, как герой в античной драме,
песок склонялся под ветрами.
Теперь на берегу лагуны
застывшее движенье – дюны.
Овраги, впадины, ложбины –
все это жесты, лица, спины.
А время здесь обнажено,
как корни и бывшее дно.

И то, кем стать мы норовили,
и те слова, что говорили,
когда еще мы были юны, –
застыли, превратились в дюны.
Зыбучий склон порос кустами,
а память – зыбкими устами:
они, далекие, как миф,
застыли, прошлое скрепив.

Иссяк рассвет, внезапный, ранний,
в Стране Щемящих Ожиданий.
И все начала, все кануны
застыли, превратились в дюны.
Как было лихо и огромно!
Как стало тихо и укромно.
Следы теряются в песках,
а море бьется в двух шагах...

1979

ОТРОЧЕСТВО. ОСЕНЬ

Ненавижу прошлое за то, что
было всё не так, не там, не то,
ненавижу прошлое за тошно-
творное, топорное пальто,

за носки, стоящие под стулом,
за тупую нищенскую снедь,
за проклятье вечно быть сутулым,
лишь бы на соседей не смотреть,

за вранье, за стыд, за обжималки
по углам, за гонор взрослых «ты»,
за подлянку мелкую, за жалкий
детский бред, грошовые мечты –

эти байки, сказочки, конь о конь,
жажда бегства, пот и страх погонь...
Отрочество! Что это за погань!
Да пожрет его святой огонь!

Чтоб о нем не ведая, не зная,
в детство наигравшиеся всласть,
прямо из младенческого рая
мы могли бы в молодость попасть, –

а тогда одуматься, проснуться
и себя догадкой ослепить,
что без этой боли и паскудства
настоящей жизни не слепить.

ТРАНСПОРТНАЯ ХРОНИКА

В связи с ремонтом эскалатора
толпа к трамваю привыкала.
Куда как северней экватора
куда как сильно припекало.

Сушились на веревке простыни,
на подоконниках – матрасы.
Проспект был огорожен досками
в связи с прокладкой теплотрассы.

Свернул на улицу, где шеями
вертело множество народа:
мы шли, прижатые траншеями
в связи с починкой водовода.

Потом я перебежкой ловкою
пролез в проезд, пробиться силясь, –
но там в связи с асфальтировкой
катки могучие катились.

Тогда я в переулок выбрался,
но, восходя над горизонтом,
стена подъемных кранов выросла
в связи с текущим капремонтом.

Так очутился у подъезда я,
так на тебя взглянул украдкой,
так я тебя назвал невестою
в связи с починкой и прокладкой,

в связи с твоей улыбкой кроткою,
в связи с моей внезапной смелостью,
в связи с весеннею разводкою
мостов –
 меж юностью и зрелостью.

1979

* * *

В этот мир предсмертный посланы,
чтоб развеять тлен и прах,
дети говорят со взрослыми
на забытых языках.

Тайный лепет древнегреческий
сквозь века протянет нить –
с кем еще по-человечески
можно так поговорить?

Это гуканье шумерское –
ты послушай, не спеши! –
все ничтожное и мерзкое
соскребет с твоей души.

Пластилиновая клинопись,
там, в коробочке, в тени,
стань животным, птицей вылепись,
в наше завтра загляни.

До открытия Америки
остается тьма и тьма...
Голосок античной мелики,
не своди меня с ума!

* * *

Римское кладбище. Разве приснится
это прибежище лар.
«Пи-ни-я... Пи-ни-я...» – свищет синица.
Пиния. Лавр.
Каменно. Сухо. Ни цвели, ни гнили.
Сосны вросли в облака.
Жили недолго, зато хоронили –
чтоб на века.

Что, моя ящерка, – разве приснится,
как мы листвою ручьем.
С камня на камень брожу по гробницам –
черным, ничьим.
Или сижу под стеною, пропахшей
вечностью, сданной на вес,
на капители коринфской, упавшей
прямо с небес.

Так вот и шарим на полках разгрома,
словно, веками соря,
в пункте приема тяжелого лома
и вторсырья.
Сладко под лавром приемщику спится –
вместе его подождем.
Что, моя ящерка, что, моя птица,
что мы сдаем?

1997

1951

...комната, где кресла
в чехлах, на босу ногу, словно дети
в ночных рубашках, шествуют из спальни
на кухню; где в пожухлые газеты
обернуты старинные гравюры
на стенах; где гардинным полотном
укрыт диван – все валики, подушки
и пуфик в изголовье; где на окнах
задернуты – сначала занавески,
за ними тюль, а после тяжкий бархат,
спустившийся на тоненьких веревках,
подобно парашюту; под стеклом
забытые невидимые книги
покрыты желтым крафтом, и рояль
стоит, как лошадь черная, в попоне,
и дверь в другую комнату закрыта
на внутренний замок и на висячий, –
так возвращались после долгих трех
огромных летних месяцев, и детство
вдыхало мятный запах нафталина,
и сердце замирало, будто знало,
что осень – лишь метафора беды.

1989

* * *

Ночь была беззвучна и слепа,
а с утра – нежданная отрада:
палый пятипалый Петипа
закружил по сцене листопада.

Старый театрал и пилигрим,
я от этих танцев ошалею
и с охапкой пышных балерин
забреду в укромную аллею.

А когда погаснет в парке свет,
тихо сяду с краюшку, в партере,
досмотреть невиданный балет
на такой неслыханной премьере.

БАЛЛАДА

Местные – Тупость и Подлость – рука в руке
сидят на завалинке. Сзади них на крюке
качается Разум в разверстом чреве сарая.
Туша разделана. Вечером пир в кабаке.
Солнце садится за стол, от жажды сгорая.
Скотство, рыгая, хлебает хмельную дрянь.
Возле дверей копошится и воет Рвань.
Бахвальство бродит в обнимку с Ленцой сопящей.
К горлу окна подступает такая рань,
что разглядеть ее может разве что спящий.
Спящий меж тем повернулся на правый бок.
Он от усердья во сне покраснел и взмок.
Что ему снится, знают одни глазницы.
Бродит во тьме кособокий и вшивый Рок –
в слепое окно глухим кулаком стучится.
Спящий глаза протирает. Идут века.
Из кабака долетает ругань, пока
всё еще спящий ревет белугой при виде
рыла в окне, поскольку жизнь глубока
и коротка, подобно детской обиде.

ЯЩИК СТЕКОЛЬЩИКА

Ходит по городу рыжий стекольщик. Висит у него на спине сказочный ящик на толстом лохматом ремне.

И по утрам с незапамятных пор небо верхом на стекольщике шумно въезжает во двор.

Ящик стекольщика – планки, дощечки, бороздки, этот магнит, на который бегут из подъездов подростки, – вот он стоит посредине двора, а стекольщик слоняется рядом, шаря по окнам внимательным взглядом.

Стекла сверкали под солнцем, – и я вспоминаю:
«Сте-е-екла вставля-я-яю!..» звучало как «Со-о-олнце вставля-я-яю!..»
Стекла давили друг друга невидимым грузом.
Стекла, как яблоки, в стружке – с хрустальным надкусом.

Самые тонкие – стекла оконные – с блеском;
стекла потолще; особое место – стеклянным обрезкам;
самое толстое – с гладким и радужным краем –
мы покупаем!

Это стекло со следами сырими
туч, отражавшихся в нем, где сверкал в исчезающем дыме
маленький, сбоку, стремительный скол,
мама купила на письменный стол.

Сколько хлопот мне стекло это в детстве доставило!
Руку сгоняло с тетради, каракули правило,
то в небеса ускользало ковром-самолетом,
то распевало весенним дождем как по нотам...

Не оттого ль, точно ящик стекольщика, полон мой письменный ящик
звоном и гулом гортанных, губных и свистящих?
Не оттого ль наяву и во сне
небо, как рыжий стекольщик, ношу на спине?

1981

* * *

Про древний Родос всё наврали карты,
но камень солон, а песок горяч,
и так ветрит, что если не Икар ты –
то крылья отстегни и тут же спрячь.

Куда лететь, куда нам плыть? Не знаю.
Все это происходит не со мной.
Но жизнь прочна, как ниточка сквозная
между воздушным змеем и землей.

У МОРЯ

Огород огорожен сетью. Перед ней
пес, на передние лапы острую морду
положив, напоминает зарытый в песок остов
лодки, выброшенной когда-то морем, – сейчас
это зыбкая тень цикадам, которых ветер
сдувает с побережья. На зыбких лапах
псиня морда с опущенными ушами
лежит, как тяжелый якорь.

Что же снится тебе, старик? Столько
раз твой живот лизали зеленые звери
с белыми гривами, столько соленых обедков
ты закопал в песок, превращая берег
в рыбье кладбище, столько ночей провел
возле костра, пожирая ноздрями жаркий
дурман похлебки, ила, тины, йода, –
что уже давно превратился в морского волка.

Огород огорожен сетью. За ней
кверху брюхом лежат огурцы. Тупые рыла
кабачки утавили в землю. В ячейх застряли
бледные водоросли укропа. Грудью на сеть
навалилась смородина, роняя красные слезы
в птичьи клювы. До чего же богатый нынче
случился улов! Гусеница стекает
с ветки в жадную почву.

Зароюсь и я в песок – пускай мне приснится
квадратик моей судьбы, огороженный сетью,
за которой это богатство – ветер, море, земля –
теснится в груди, распирает сердце...
Нет, не бывать мне морским волком! Мое дело
куда солонее: знаться с мирским толком.
Беден мой бредень – и все же велик улов,
когда над головою такое небо!

1976

* * *

Ну что у нас за страна! Еще хорошо – не Соседия,
но трехметровая клюква по-прежнему в моде.
Что закипело – выкипело. Вот и вся Выкипедия:
живем в окружении как бы, подобно и вроде.

Вроде бы, надо спасаться. Опять захожу в подвальчик.
Я остаюсь при своих, при своем пивном интересе.
Кто я теперь? Всего лишь списывающий мальчик,
как выдумал Миша Векслер в щемящей сердце Одессе.

Значит – подобно и вроде. В память о симулякре,
об этих стихах, рожденных на складе или в котельной.
Будущее застряло, словно корабль на якоре, –
во время такого отлива приближаться смертельно.

* * *

И вот они выплывают из прошлого –
«сайгоновские» завсегдаи:
взломаченные, небритые, вечно поддатые,
канувшие в Лету и вынырнувшие из Гудзона,
приглаженные, стриженные, вроде газона,
но по-прежнему непреклонно пьющие
и на всю нашу жизнь со своих небоскребов плюющие.
Правда, при ближайшем рассмотрении
небоскребы превращаются в довольно приземистые строения,
в подвалы, в каморки, в квартирки,
правда, с едой в холодильнике и мягкой бумагою для подтирки.
А былые собрания и выклянчивания мелочи
превратились в мелочь собрания и выклянчивания былого,
из которого умеючи
можно извлечь два-три свежих слова.
Но все остальное – по-прежнему там,
в шестидесятых-семидесятых,
и память ведет этих стриженных, гладких, поддатых,
возвращая к насиженным с детства местам,
где стакан бормотухи заедали пирожками с повидлом
те, кто были быдлом,
а стали «мидлом».

1991

* * *

Господин Фаршеедов,
автор нашумевшей «Крысофобии»,
прижал передние лапы, вытянул задние обе и
потянулся, на солнышке млея,
поскольку сожрал еще одного ротозея.
С тех пор, как ему перестали протягивать лапы
местные химики и эскулапы
из общества защиты пернатых и грызунов,
он стал еще большим потрясателем основ и карнизов,
по ночам выходя на охоту и бросая сородичам вызов.
Так и движется наша эпоха:
все, что плохо, – плохо, и все, что прекрасно, – плохо,
оказалось, что вдруг ни эстетики всюду не стало, ни этики,
и радители прав на цветенье в лугах собирают букетики.
Вот и семейство Лютиковых собирается в путь:
Лютиков-папа хватается с горя за грудь,
где угнездились его родные жучки и личинки;
Лютикова-мама впопыхах пересчитывает тычинки;
а Лютиков-сын вздыхает сладко и тяжело –
прощай, маргаритка, прощайте, ландыш и кашка!
Он машет им лапкой, он их на прощанье кличет –
но кто-то его прижимает к земле
и, елозя на спинке, мурлычет...

1992

ИЗ ПОСЛЕДНИХ. ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Свернулась улитка на зябком пне,
дороги мокры и топки.
Деревья потрескивают во сне
в предчувствии скорой топки.
Прощай, моя радость, до вешних дней,
до первых теней заката.
Здесь каждая зимняя ночь длинней
окружности циферблата.

* * *

Я странный мир увидел наяву –
здесь ничему звучащему не выжить,
здесь если я кого и позову,
то станет звук похожим на канву,
но отзвука по ней уже не вышить.
Здесь если что порой и шелестит,
то струйка дыма вдоль по черепице,
здесь даже птица шепотом свистит,
а ветер листья палые шерстит
беззвучно, будто им всё это снится.
Здесь камнем в основании стены
который век не шелохнется время.
Здесь между нами столько тишины,
что до сих пор друг другу не слышны
слова, давно услышанные всеми.

* * *

Голос ломкий, как тонко заточенный грифель,
чертит плавную речь, избегая нажима,
на откосе ли вдруг замерев, на обрыве ль,
зацепившись за слово, застыв недвижимо.
Вниз осыплются призвуки, выпадут слоги,
и окажется почва чужой, бесполезной,
и застынет вопрос, ожидая подмоги,
над внезапно открывшейся райскою бездной.

* * *

У швейной машинки – ни дня передышки:
карманы, манишки, рубашки, штанишки.
Машинка поет от зари до заката:
«Ци-та-та, цита-та, цитата-цитата!..»

Так дальше и вышло – с повтором, с оглядкой
на ближние судьбы над детской кроваткой:
на фото ушедших и канувших в ночь –
узнать, не забыть, пережить, превозмочь...

В соседней квартире и в дальней Сибири –
езде наши матери шили-кроили
из легкого фарта и мелкой удачи
мальчишкам – одежду, мужьям – передачи.

О чем я? О том я, что знался с утратой,
что стала судьба моя скрытой цитатой
из общей судьбы, и с годами трудней
себя обнаружить и высмотреть в ней.

И вправду, оглянешься – как мы похожи:
все тот же, все та же, все те же, все то же!
Смотрю, повторяя, как в детстве когда-то:
– Цитата... Цитата... Цитата... Цитата...

1987

МОСКВАРИКИ И НЕВЫРИКИ

Вдоль Москва-реки ходят москварики –
все начальники ходят, очкарики.
Вдоль Невы-реки ходят невырики –
все молчальники ходят, все лирики.

Едет поезд, мигая фонариком –
едет в гости невырик к москварикам
и садится, блаженствуя, в скверике,
где гуляют сплошные холерики

Вдоль Москва-реки ходят москварики,
все грызут пирожки да сухарики.
Вдоль Невы-реки ходят невырики,
с пивом хрупают рыбы пузырики.

И глядят поминутно москварики
кто на часики, кто в календарики.
И неспешно взирают невырики,
как ползут под мостами буксирики.

Не годится невырик в историки –
он гуляет, мечтая, во дворике,
и блажные его каламбурики
охраняют лепные амурики.

А тем временем вертятся шарики –
это думают думы москварики.
И за это их любят невырики
и москварикам шлют панегирики.

1985

ЗАМОРОЗКИ

Коричневая, как плоть опенка,
от заморозков чистым-чиста,
прилипшая к столу для пинг-понга,
кленовая лоснится листва.

Рябиновые густые капли
в гортани кроны – что в горле ком,
и к дереву приткнутые грабли
проржавленным покрыты ледком.

Напитанные водой, осели
тугие комья – земля черна,
и жизнь, подобно гряде осенней,
разграблена и размельчена.

Опростанная, она до срока
ложится, словно под нож, под лед –
и эту нищетой высокой
кончается незабвенный год.

Вода поникла и поутихла,
над ряскою всё плотней припай.
О память, зыбкая паутинка,
к губам присохшая, – улетай!

1984

* * *

Волны бегут за кормой.
В том-то, наверно, и дело.
Берег туманной каймой
Зыбкая дымка одела.
К соли привыкнув, глаза,
Ищут во всём перемену,
Бледный обрывок гекса-
метра ветром уносит, как пену.

Друг мой отыщет во всём
Коль не рифму, так что-нибудь вроде,
Скажет он: «Что ни возьмём,
Коль не рифма, так что-нибудь вроде,
Рифма была уже в том
Разделении на море и сушу,
Первом, извечном, земном...»
Я так понимаю Андрюшу!

Как паруса, что полны
Ветром и брызгами пены,
Так до отказа полны
Кровью попутною вену.
В том-то, наверно, и соль,
Что повторам не выйти из круга.
То-то же радость и боль,
Словно рифмы сменяют друг друга¹.

¹ У меня не сохранилось листочка с автографом его стихотворения, написанного в начале 80-х, когда я всех своих друзей доставал рифмами «Слова о полку Игореве», а потом плавно переключился на оппозиции библейского Шестоднева. Восстанавливаю, текст как запомнил. Кажется, там была еще строфа (вторая), но не уверен. (Прим. А. Ч.)

В КНИГЕ

- НЕМОЕ КИНО (Когда я уеду из мест...) – 2
- Усни на моем плече посреди зимы... – 3
- ОТРОЧЕСТВО. ЗИМА (Я не увижу знаменитого фетра...) – 4
- ПРОХОДНЫЕ ДВОРЫ (Проходными дворами я к дому бежал от шпаны...) – 5
- МОСКОВСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ (Александр Михайлович Ревич...) – 6
- Как важно родиться в том городе, где... – 7
- СМЕРТЬ ПОЭТА (Не звонил ему никто...) – 8
- МАМА (У прохожих на виду...) – 10
- ДВЕНАДЦАТЬ (Бросил писать. Не хватило таланта или...) – 11
- «Я слепну и глохну», – сказал мне поэт... – 15
- Талантливые мальчики конца пятидесятих... – 16
- Мы выросли на лагерном жаргоне... – 17
- ЕДИНОЖДЫ НАВСЕГДА (В середине шестидесятих резко замедлилось время...) – 18
- СТОЛ НАХОДОК (В зеленых лужицах брусчатка...) – 19
- СЕГОДНЯ (Руки у рыб кривы...) – 20
- В НАЧАЛЕ МАЯ (По радио гоняли Галича...) – 21
- КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ КИСКИ (Купили в киоске «Берёзки»...) – 22
- Вот кошмар быть женой дипломата... – 23
- Петербургский художник армянских кровей... – 24
- Как начинался русский футуризм... – 25
- ЛИСТ КАЛЕНДАРЯ (Спешит поэт столичный, веселый человек...) – 26
- ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (У нее была толстая мама с прокуренным басом...) – 27
- КОТ И ХОЗЯЙКА (Но я о смерти – все случилось так...) – 28
- РЯДОВОЕ ДЕЛО Д'АРТАНЬЯНА (Его преосвященство, кардинал...) – 30
- Дитя уснуло на груди... – 32
- БЕЛЫЕ НОЧИ. ТАНГО (Больные мальчики, кто с печенью, кто с астмой...) – 33

Ты возвратилась в этот пасмурный...	34
Как судьба, свершившаяся втайне...	35
И ОН ОТВЕТИЛ... (Синюшная, как срез яйца...)	36
Всё тесней и всё интимней...	39
Майский запах свежей корюшки...	40
СЧИТАЛКА (Тазик с дыркой для гвоздя...)	41
Листья падают ничком и навзничь...	42
ДЮНЫ (Здесь, как герой в античной драме...)	43
ОТРОЧЕСТВО. ОСЕНЬ (Ненавижу прошлое за то, что...)	44
ТРАНСПОРТНАЯ ХРОНИКА (В связи с ремонтом эскалатора...)	45
В этот мир предсмертный посланы...	46
Римское кладбище. Разве приснится...	47
1951 (...комната, где кресла...)	48
Ночь была беззвучна и слепа...	49
БАЛЛАДА (Местные – Тупость и Подлость – рука в руке...)	50
ЯЩИК СТЕКОЛЬЩИКА (Ходит по городу рыжий стекольщик...)	51
Про древний Родос всё наврали карты...	52
У МОРЯ (Огород огорожен сетью...)	53
Ну что у нас за страна...	54
И вот они выплывают из прошлого...	55
Господин Фаршеедов...	56
ИЗ ПОСЛЕДНИХ. ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ	57
Свернулась улитка на зябком пне...	
Я странный мир увидел наяву...	
Голос ломкий, как тонко заточенный грифель...	
У швейной машинки – ни дня передышки...	58
МОСКВАРИКИ И НЕВЫРИКИ (Вдоль Москва-реки ходят москварики...)	59
ЗАМОРОЗКИ (Коричневая, как плоть опенка...)	60
Волны бегут за кормой...	61
<i>ОТ СОСТАВИТЕЛЯ</i>	64

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

ДЕНЬ ДОЖДЕНИЯ

«Инспектор по утратам» –
покоцанная табличка
на дальней двери паспортного стола
(в тупик, налево по коридору).

Когда я сообщил об этом Мишке,
он просиял:
«Классная эпитафия всем переводчикам стихов!»
И добавил:
«Перевод – это искусство утрат».

Под зимним дождиком
я поздравил друга с днём дождения
и мы посмеялись:
на календаре было 8 января,
день его аиста.

«Когда к тебе придёт Михаил Стихатель?» –
спросит шестилетний Тишка.

Сразу, как дождусь своего дня дожденья.

9 ноября 2020 – 26 марта 2021

После ухода Миши я каждый день выкладывал в ленте фейсбука то по одному, то по два его стихотворения. Так и сложилась эта книжка – не избранное, просто то, что вспоминалось в первые сорок дней.

Издание подготовлено к вечеру памяти Михаила Яснова в Фонтанном Доме, в музее Ахматовой. Выложено в тот же день 27 марта 2021 г. на моем интернет-портале «Несториане» и в мюнхенской электронной библиотеке Андрея Никитина-Перенского ImWerden.

А. Ч.

Андрей Юрьевич Чернов trezin@yandex.ru
Подписано в печать 26.03.21